

Ярослав Жак

Относительно чешско-русских литературных связей и их актуализированных интерпретаций

Studia Rossica Posnaniensia 26, 97-101

1995

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕШСКО-РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ И ИХ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

ON CZECH-RUSSIAN LITERARY RELATIONS
AND THEIR PRESENT-DAY INTERPRETATIONS

ЯРОСЛАВ ЖАК

ABSTRACT. In the article On Czech-Russian literary relations and their present-day interpretations Jaroslav Žak says that nowadays at last favourable conditions have appeared for an evaluative approach to verbal artworks, the approach devoid of any political filter.

Jaroslav Žak, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Rettigové 4 110 00, Praha 1, Czech-Republic.

Одна из существенных отличительных черт художественного текста – способность жить „вечно”, обновлять свою силу, приобретать новые значения.

Это было в 1969 или 1970 г. Я готовился к лекции о Твардовском. Перечитывая давно, казалось бы, досконально известные стихи поэмы *Дом у дороги*, я вдруг читаю как будто что-то новое, раньше не замеченное:

Вам не случилось быть при том,
Когда в ваш дом родной
Входил, гремя своим ружьем,
Солдат земли иной?

Чужой солдат вошел в ваш дом,
Где свой не мог войти.
Вам не случилось быть при том?
И бог не приведи!

Новое значение может и противоречить первоначальному замыслу художника. В данном случае, однако, новый смысловой оттенок был не в обиду автору, отношении Твардовского к „Пражской весне” общезвестно.

Но не только художественный текст не обязательно всегда однозначен. В другом разрезе можно о подобном качестве говорить в отношении исторических документов, и они могут нередко помогать в понимании проблем других времен: аналогия иногда, как известно, прямо напрашивается.

Когда в начале 80-х годов готовилась хрестоматия русской литературы для молодежи¹, мы с профессором Мирославом Дрозда решили сопоставить отдельные выбранные тексты с откликами на них и на их авторов русских и чешских деятелей культуры разных времен – ученых, писателей, переводчиков, критиков. Мы задалась целью показать молодому читателю пестрый калейдоскоп различных подходов к восприятию словесного искусства и поколебать таким образом слишком узкий взгляд, насаждаемый обыкновенно школой, будто оценки и интерпретации художественного слова в учебниках раз и навсегда непреложны. За работой над хрестоматией мы часто наталкивались на документы, которые в новой исторической обстановке получали добавочный, подчас неожиданный „дальновидный” интерпретационный размер.

Наше общество целые десятилетия жило под нажимом политики и идеологии. Все им подчинялось. В области искусства пострадала прежде всего художественная литература и ее изучение в школах и вузах. Правда, для этого была у нас довольно благоприятная почва, удобренная еще в прошлом веке нашими просветителями. Развитие чешской литературы проходило тогда рука об руку с обновлением чешского языка, а вскоре совместно с борьбой за политическую самобытность. Это было время национального возрождения. Чешские ученые и писатели не жалели сил, в жертву приносили не только удобства жизни, личное счастье, но, как известно, в пылу рвения не избегали и некоторых не слишком благородных средств. Я имею в виду пресловутые *Рукописи*. Поэт К. Я. Эрбен принадлежал тогда к последовательным их защитникам. Отстаивая их подлинность, он не преминул поддержать их и при издании своего перевода *Слова о полку Игореве* и *Задонщины* следующими словами²:

„Как у песен чешских рукописей *Зеленогорской* и *Краледворской*, так и у песни о походе Игоревы были противники, которые отказывали им в подлинности, с тем только отличием, что древних чешских памятников были люди, нанятые врагами нашего народа, а противники русского памятника были домашние русские скептики”. Вот пример политического, национального подхода, в романтическом 19 веке никак не неожиданного и удивительного. (Другое дело временно почти забытые споры в СССР о подлинности *Слова*).

¹ *Čítanka ruské literatury*, t. I-II, Praha 1983, изд. 2, 1988. Проф. М. Дрозда подготовил 2-ой том, посвященный послереволюционной литературе. Его имя в книге не приведено, т.к. на него был наложен запрет публиковаться. Вместо него в обоих томах приведено имя составителя 1-ого тома Ярослава Жака.

² *Dvě písní staroruských totiž: O vypravě Igorově a Zádonsťina*, Praha 1869, с. VII-VIII.

Национальный вопрос остается первоочередным и в дальнейшие годы, в основном вплоть до возникновения самостоятельной Чехословакии в 1918 г. Когда на рубеже веков, в 1900 году, пришел в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому молодой ученый, 28-летний Зденек Неедлы, национальная проблематика заняла в их беседе довольно важное место. По возвращении на родину Неедлы опубликовал статью, исполненную разочарованиями от встречи с писателем всемирной известности. Вот пример³:

„Учение о непротивлении злу представляет собой отрицание национальности, кроме того, Толстой – русский. А русский, который живет под Москвой, может идти неделю, а все будет видеть вокруг себя лишь русских да русских. (...) Толстой вполне спокойно сказал: «Все равно, на каком языке писать, важно, что пишется». Это правда, но не вся. Толстой пишет только по-русски, не видит, как язык связан с делом. (...) В споре о национальности он усматривает только борьбу за язык, за формальность, о моральном и историческом значении языка не имеет понятия. Русский, хозяин половины Европы, ни с кем не борется за свою национальность (финны и поляки борются за свою, но русским не вредят), зачем чехам бороться за нее и спорить о ней? Эта русская логика является и логикой Толстого. Чего не делаем мы, русские, восьмидесятиmillionный народ, организованный в самую могучую силу мира, того не делайте и вы, чехи, шестимillionный народ (...), лишенный всякой внешней силы. Национальная борьба – вина чешской стороны, ибо непротивление злу – необходимое условие добра. Таково суждение Толстого о нас: в согласии с его учением суждение вполне логичное и оправданное. Однако, куда делась психологическая и историческая глубина автора *Войны и мира*?”

Приведенная цитата получит особую актуализированную окраску, если учесть бесславную политическую роль, которую сыграл профессор Неедлы после второй мировой войны – на посту коммунистического министра образования в Чехословакии.

С другой стороны, то, что разочаровало молодого ученого в отношении Толстого к чувствам и потребностям малых народов, может – разумеется не в полностью тождественном плане – напомнить позицию Пушкина, как она выявилась, например, в стихотворениях *Клеветникам России* или *Бородинская годовщина*. В этом смысле тема спора реализма и романтизма в *Медном всаднике* (подчеркнутая в авторских примечаниях о стихах Мицкевича) приобретает очередной смысловой размер, перекликающийся с более поздними стихами *Он между нами жил*.

Эхо той же эпохи двух великих европейских поэтов, эхо тех же событий, отразилось трагически на судьбе чешского преромантического поэта Ф. Л. Челаковского. Хочется здесь обратить внимание не столько на него (факты его жизни общезвестны), сколько на то, как эту печальную историю прокомментировал чешский

³ Lev Nikolajevič Tolstoj jak ho viděl..., Praha 1978, с. 276-277. Sr. Zvon I, 1901.

ученый, писатель и переводчик Отокар Фишер в предисловии к изданию в 1933 году Чалаковского *Отзвука русских песен*⁴.

„Отклик общественности был знаменит (...). Однако с внешней стороны Чалаковского ждало – невзирая на скромный книгоиздательский успех – (...) обидное разочарование. (...) терпким был опыт, постигший пламенного русофила в отношении к обожаемой им царской империи. Этот факт отмечен не только личным, но и национальным трагизмом: поэт *Отзвука русских песен* шесть лет спустя после издания этого для чешско-русских чувств чрезвычайно значительного сборника был лишен официального поста редактора и даже возможности преподавать в университете и все из-за того, что его критика поведения царя к полякам была сочтена невежливой; если добавить, что это случилось, видимо, по доносу русофила Ганки, чешское доверие в русскую силу и доброжелательство царя получит больно и горько проническое предзнаменование. Эмоциональное славянофильство, которое в течение своего столетнего развития от Коллара по мировую войну столько раз наталкивалось на жесткую реальность политики трезвого расчета, в судьбе своего поэтического выразительного представителя приобретает впечатлительную и одновременно жестокую силу символа”.

Внушительные слова. Массовидное подтверждение пророческой их меткости еще только ждало. Чехословацкие русисты были среди первых жертв нормализаторов. Они провинились выдвижением требования художественности, а не идеологии; после издательского засилья официально поддерживаемой т. наз. генеральной линии советской литературы выправляли картину настоящей русской литературы в глазах читателей, возобновляли ее заслуженный престиж новыми переводами писателей начала 20 века, первыми переводами репрессированных и тщательным подбором современных лучших произведений. Все это было в 70-е и 80-е годы крайне нежелательно.

В настоящее время возникли, наконец, благоприятные условия для оценочного подхода к произведениям словесного искусства, подхода, лишённого политического фильтра. Но это еще не значит, что новые условия всегда полностью используются. Речь пойдет не о рынке, а о другом. Соблазн старых привычек, оказывается, сегодня еще велик, конечно, с обратным знаком, в обратную сторону. Следующий пример не является самым характерным, но он по-своему показателен; свое начало он взял десять лет назад в эмигрантском издательстве, заслуги которого перед нашей культурой бесценны⁵:

„(...) лучшая литература маленького народа, сегодня под русским гнетом, не имеет ничего общего с литературными традициями подлинного Востока, так как,

⁴ O. Fischer, *Úvod*, in F. L. Čelakovský, *Ohlas písní ruských*, Praha 1933, с. 6.

⁵ J. Škvorecký, *Americké vlivy v díle Bohumila Hrabala*, Tvar 24, 1990, с. 8; Cross Currents 1, 1982.

пользуясь словами Джозефа Конрада, образ мышления и эмоциональность его писателей были нам, по наследству и индивидуально, всегда противны. Итак наша чешская литературная традиция уходит своими корнями прочно и глубоко в животворную почву западного искусства”.

Эти глубоко односторонние слова должны были вызвать симпатии к творчеству чешского писателя у американских читателей. Этим все и объясняется – реклама... Дело однако в том, что чешский перевод статьи был опубликован в 1990 г. в Праге, где Б. Грабал (чью книгу статья американцам рекомендовала) в рекламе не нуждается.

Сегодня в политике необходимо отличать (европейский) Запад и Восток, обоснованность термина „западная демократия” бесспорна. Но дело обстоит иначе, если речь идет о культуре, об искусстве. Тут такое обобщающее деление, тем более в аподиктической форме, вряд ли уместно. С культурно-исторической точки зрения Европа представляет собой одно целое, хотя в деталях разрозненное, ее общими источниками являются антика и христианство. В таком именно смысле надлежит понимать горбачевское крылатое словосочетание „европейский дом”, т.е. в его духовном, а не строительном значении, не как здание, а родной простор жителей Европы, дом, который по своей сути существует века. Не даром русские называют Землю „домом людей”. В данном контексте русский ДОМ будет английским HOME, немецким HEIM, чешским DOMOV.

Желательно было бы, если бы мы не считали целесообразным находить в художественных текстах своих и других народов все новый актуализированный идеологический и политический смысл; пусть он стоит, даже когда сам текст такой подход как будто настоятельно подсказывает, где-то скромно позади. Примером нам могут служить слова чешского поэта, посвященные гению Пушкина⁶:

„Пушкин для меня всегда является прототипом поэта-властелина, охватывающего суверенным жестом все человеческое и сверх этого всю землю и пустоту вселенной. (...) Всю его поэзию я воспринимал как великий гимн благодарности. Автор Онегина – поэт антично цельный. (...) Потребность в красоте для Пушкина, в красоте своеобразной, для него безусловна; даже там, где атакует, сражается, осуждает, везде бесспорно, что его окончательной целью является возведение красоты на престол. Пушкин борется, чтобы закрепить свою власть в ее мире, борется, чтобы красота властвовала над миром”.

⁶ *František Halas in Věčný Puškin*, Praha 1937, с. 33.